

## Война и победа как объект анализа

# О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ, НАЦИОНАЛЬНОЙ МИФОЛОГИИ И СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

*И.И. Глебова*

*Институт научной информации по общественным наукам  
Российской академии наук (ИНИОН РАН)*

**Аннотация:** В статье критически анализируется национальная мифология Великой Отечественной войны (ВОВ). Автор показывает, что память об этой войне является ценнейшим символическим ресурсом, который активно эксплуатируется в угоду сиюминутным интересам. При этом возможность понимания трагичности и противоречивости истории ВОВ, а также ключевых причин её мифологизации блокируется агрессивным охранительством, запрещающим саму постановку подобных вопросов. Как показывает автор, мифология ВОВ в памяти российского общества свелась к «военно-победной», «парадно-маршевой» истории, прославляющей военную мощь государства и героизм народа. В результате эти мифы не способствуют социальному развитию, но призваны вселять оптимизм, будить не национальное чувство, а националистическое тщеславие и великодержавную агрессию.

**Ключевые слова:** национальная мифология, коллективная память, Великая Отечественная война, агрессивное охранительство.

В июле 2012 г. в Москве с лекцией выступал известный американский историк Ричард Пайпс. И хотя лекция была посвящена российской истории, вопросы аудитории касались в основном современности — что будет с Россией? Отвечая на один из них, Пайпс вспомнил, как был поражён, посетив Дом книги на Новом Арбате: почти половина изданий была посвящена Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Как всякий нормальный человек Пайпс понимал величие подвига советского народа и громадность его потерь, но для него осталось загадкой, почему через 67 лет после Победы российское общество концентрирует свое внимание исключительно на этом событии. По его мнению, есть опасность для будущего России в том, что она «застряла» в одном, пусть и величайшем, событии своей истории.

В последнее время иностранцы, «чужие» голоса у нас не в почёте и даже на подозрении. И Пайпс нам, понятно, не указ. Но и без этого «постороннего» (замечу: тонкого, пронизательно-го, знающего) наблюдателя понятно, что Великая Отечественная война в современной России стала чем-то большим, чем исторический факт. Это особая «охранная зона» нашей памяти, за «чистоту» и «правильность» которой в обществе ведутся настоящие сражения. Это наша Великая война — такое же место занимает в памяти европейцев Первая мировая.

### *Образы нашей памяти: Великая война*

Высокий общественный статус военной истории объясним. Все мы действительно откуда — из Великой Отечественной. Уже третье поколение граждан СССР-России выросло на рассказах о войне. Самые активные позиции в обществе занимают сейчас люди, которых воспитали бабушки и дедушки, прошедшие войну. Великая Отечественная для нас — это личное, факт автобиографии каждого человека и всей страны, живая линия преемственности с прошлым. Военные воспоминания — одно из немногих (не обыденных и не частных, индивидуальных) впечатлений, ещё способных «зацепить» нашего человека, вызвать у него позитивную эмоциональную реакцию.

Память о Великой Отечественной поддерживает нас в настоящем, прибавляя уверенности в себе, объединяя в народ; на ней основываются общие надежды на будущее. И не случайно именно в этой истории обрёл легитимность нынешний строй. Дефицит актуальных достижений и неопределённость перспектив он компенсирует нашим лучшим (так мы его воспринимаем) прошлым. Культ Победы — главная ретроспективно-символическая опора, придающая политическому режиму устойчивость, гарантия его стабильности, основа позитивных связей со страной.

Получается, что Великая война — наш ценнейший ресурс, пусть и символический, но не уступающий по значению природным. И относимся мы к нему так же — нещадно, до истощения эксплуатируем, подчиняя интересам сегодняшнего дня, своим сиюминутным нуждам, желаниям. При этом мало задумываемся о природе предмета — о чрезвычайной сложности и трагизме реальной истории, о тонкости материи воспоминаний, о своей ответственности за то, что и как помним. Мы считаем свои представления о войне собственно историей, не хотим знать, из каких сложных напластований опыта, знаний, фактов, мифов они состоят, гневаемся на тех, кто пытается подвергнуть деконструкции образы нашей памяти. В последние годы агрессивное охранительство стало определять общественное отношение к Отечественной войне, препятствуя ее познанию и пониманию<sup>1</sup>.

Одна из запретных тем — мифология Великой войны. Одно слово «миф», поставленное в контекст военной истории, служит спусковым крючком для недовольства, отчуждения, всплеска агрессии. Ответ на него — «фальсификатор истории», дискредитирующий и девальвирующий Победу 1945 г., «русофоб» (это странное для русского уха слово фактически стало «политкорректным» эквивалентом сталинского «враг народа»<sup>2</sup>).

<sup>1</sup> Агрессивное охранительство вообще определяет теперь общественную атмосферу, правила существования публичной сферы. Об этом точно сказал Д. Быков: «Сегодня в России уже нельзя ничего сказать, чтобы не оскорбить чьих-либо чувств. В результате мы ничего и никого не обсуждаем всерьёз, а только фильтруем собственную речь, чтобы не дай бог, не высказаться по существу» [Быков 2014]. Вот эти «не высказаться по существу» (о главном), нейтрализовать «мнение» (как частное, вредное, неправильное) — традиционный способ нашего существования, инструмент нейтрализации мысли, подавления личности.

<sup>2</sup> Другой аналог «врагу народа» — либерал; это слово приобрело сейчас исключительно отрицательные коннотации, составив пару определению/оскорблению 1990-х — «демократ». Лишение понятий истинной сущности через перекодировку/подмену («фальсификацию») смысла — традиционная технология социального манипулирования. В современной России она доведена до предела, действует по принципу «промывания мозгов». Такого рода риторика в последние годы возобладали на федеральных (контролируемых «сверху») телеканалах, которые, собственно, наши «мозги» в основном и «форматируют». Интересно, что власть, имеющая формально демократическую легитимность, возникшая и самореализовавшаяся благодаря либеральным преобразованиям, видит пользу для себя именно в такой «промывке», в такой ориентации «электората». Занимательно также, что «электорат», освобождённый демократами от госпартконтроля, разнудавшийся и затосковавший без направляющей «твёрдой руки», привыкший пользоваться свободами и раздражённый реалиями «свободного мира», оказался восприимчив именно к такой риторике. Единение власти и народа на «антилиберальной» почве — не только реакция на «неправильность» либеральных реформ, но и показатель их истинных склонностей: мировоззренческих, ценностных.

Привычность и обычность такой реакции, возможной даже в среде профессиональных историков, свидетельствуют, по крайней мере, о двух вещах.

Во-первых, война-Победа приобрела в постсоветской России сакральный статус — обо чтимой святыни. Это неожиданным образом характеризует наше общество — вроде бы вполне современное, но на свой, особый (постсоветский) лад: до крайности материалистическое и прагматическое, почти ни во что не верящее и не верующее. Оно нуждается в святом, возвышенном, некоей предельной высоте. Но вовсе не для того, чтобы взглянуть с нее на себя — скорее, чтобы «прикрыться» святыней.

Во-вторых, это урбанизированное, грамотно-образованное общество, отдавшееся в последние 20 лет «радостям» потребительства, привыкшее к относительному потребительскому разнообразию и выбору, совершенно не интересуется историей и проблемами памяти, но считает себя вправе «окоротить» любого (и прежде всего специалиста, профессионала-историка), замеченного в «подрыве русского национального сознания» «пропагандой» «неправильных» выводов, фактов, интерпретаций.

В отношении к прошлому и особенно в отношении памяти о Великой войне российское общество в массе своей не терпит ни разнообразия (точек зрения, подходов), ни свободы (слова, мнения, творчества). Здесь оно заняло последовательно охранительную позицию. Объект охраны — не история во всей ее трагической сложности, многозначности и противоречивости, а те представления о ней, в которые наши люди привыкли верить. Такая охрана «символа веры» без знания ее основ — из арсенала обрядоверия, традиционного для России. Реакционное охранительство не нуждается в просвещении, долгой и трудной работе по постижению сути предмета, так как приравнивает символы к «основам», а обряды — к самой вере. С точки зрения будущего, перспектив развития это худшая — агрессивно-безответственная, бессмысленно-беспощадная — из возможных позиций.

Груз невежества и предубеждений, а также привычка к мировоззренческой несвободе, к «использованию прошлого» в угоду конкретным политическим интересам, оставшаяся с советских времён, отягощают нашу память о Великой войне. Она нуждается в «разгрузке», в освобождении. Изучение воспоминаний, их связей с историей, культурой и актуальными социальными потребностями раскрепощает память, делая общество более свободным, а его движение во времени — более осмысленным. Как бы непрактично, прекраснодушно это ни звучало, — это так. Поэтому работа по деконструкции исторических представлений социально оправданна и полезна — как вакцинация для предотвращения заболевания варварством. Она препятствует и идеализации, и демонизации прошлого, задавая тем самым адекватную рамку восприятия настоящего.

С этими соображениями и связано написание этого текста. Мне не столько хотелось бы показать, почему в памяти разных наций мифологизируются великие исторические события, сколько понять, почему современное российское общество так склонно к мифологизации истории и так упорно не желает признавать этой своей склонности.

### ***О «сакральности» культурных мифов и «полезности» политической мифологии***

Подчеркну: для характеристики коллективных представлений о прошлом<sup>3</sup> мифологиче-

---

<sup>3</sup> Здесь необходим небольшой экскурс в область методологии. Память долго понималась как свойство индивидуального сознания. Однако для науки XX в. определяющей стала идея классика современной социологии Э. Дюркгейма: человек с его индивидуальным сознанием формируется в обществе и обществом. Из этойсылки исходил французский социолог М. Хальбвакс, предложивший в 1925 г. понятие «коллективной памяти»: представления о прошлом (память) всегда конструируются коллективно, входя в «картину мира» различных обществ, и являются поэтому социальной категорией [Хальбвакс 2007]. Коллективные образы прошлого обу-

ская перспектива столь же возможна и естественна, как и любая другая. Для явления же такого масштаба, как Великая война, во многом определившего жизнь страны и потому особым образом отпечатавшегося в памяти, подобная перспектива просто необходима. Чтобы это объяснить, нужно сказать хотя бы несколько слов о понятии «миф», определить его сущность.

Миф — это не поэтическая выдумка, не вымысел, не обман, не заблуждение или предвзвешенный рассудок. (Такая упрощенно-уничтожительная оценка восторжествовала (стала нормативной) в эпоху Просвещения, потребовавшего изгнания мифологии из общества и рационализации сознания. Явившись во многом реакцией на «тёмные века», она была потом переосмыслена, пересмотрена. Актуальное значение имеет лишь ее критический, деконструктивистский пафос.) Миф — важное социокультурное явление, особый механизм поглощения и переработки национальной культурой национальной истории. По наблюдению К. Хьюбнера, «миф, как и наука, предполагает определённую и эксплицитную онтологическую структуру. Иначе говоря, он покоится на определённом предположении о том, как является нам реальность и что может рассматриваться в качестве истины» [Хьюбнер 1996: 56–57]. Культурный миф отражает некоторые важнейшие черты действительности, которые недоступны современной рациональности, поэтому он не менее реален, чем другие онтологические формы. В конечном счёте миф есть сложное и специфическое соединение реальности и наших представлений о ней, наших реакций на нее (сознательных и бессознательных).

Мифологический тип освоения (переживания и истолкования) действительности обращён к глубинным основам бытия, связан с модальностью не столько сущего, сколько должного. По словам М. Элиаде, «миф означает сакральную историю... описывает различные, иногда драматически мощные проявления священного в этом мире» [Элиаде 1995: 16]. «Священное» — это некие «конечные ценности», идеальные образы-образцы, архетипические модели (по К. Юнгу, «осадок» опыта прежних поколений [Юнг 2004: 106]), хранимые культурой. Через миф осуществляется связь с ними, посредством мифа эта связь актуализируется. Национальная история не подвергается в мифе вульгарной переделке — не перевирается и тем самым не «занижается». Она перерабатывается (путём идеализации и очищения от всего того, что идеальным образам не соответствует) до обретения окончательной адекватности «священному рассказу», в котором «нация» («народ»)/различные общности/человек могли бы обнаружить основания для самоутверждения.

Поэтому «общее прошлое» — образы истории, через которые в разные моменты своего существования самоопределяется любая нация или социальная группа, — в значительной степени мифологизировано. Посредством мифологизации происходит «дистраивание» истории до «священного рассказа»; точнее, так история и переходит в такой рассказ. Здесь работают глубинные механизмы культуры; так в ней оживают «старые» темы и смыслы, востребованные настоящим. Всякая национальная культура построена на мифах, которые можно назвать культуuroобразующими: французская — о Жанне д'Арк, Великой революции и Наполеоне, американская — об «отцах-основателях» и войне за независимость и т. д. Мифы о Великой Польше, Великой Венгрии и др. реализовались в больших национальных нарративах (историях, повествованиях). Мифология — это живой, активно работающий культурный материал; он не перестаёт быть актуальным.

---

словлены не только социально, но и культурно; «через» них выражается специфика разных культур. Говоря о памяти сообществ, необходимо понимать, что это не просто нечто готовое («продукт истории»), но и результат символической борьбы (определение «войны памяти» вполне уместно для ее характеристики). Разного рода «элиты» эксплуатируют историческое наследие в своих целях, стимулируют «работу памяти» для легитимации властных отношений, конструирования идентичностей. Все эти процессы особенно актуальны и остры в обществах самоопределяющихся, прошедших через конфликты, переломы и ещё не устоявшихся (не состоявшихся) в культурном, политическом, мировоззренческом отношениях.

Сказать в связи с темой Великой Отечественной войны «миф» — вовсе не значит замахнуться на святое. Напротив, тем самым указывается: в народной памяти это событие приобрело статус «сакральной истории», не пересказывающей прошлое, но транслирующей установочные для данной культуры ценности. Другое дело, что всем можно воспользоваться; даже «священный рассказ» становится объектом политического манипулирования. XX век изобрёл технологии массовой эксплуатации культурного материала — в том числе и прежде всего в массовой политике.

Мифы культуры дискредитированы политикой; наполняясь политическим содержанием, они все больше подчиняются задачам социального управления. В политическом мифе происходит своего рода десакрализация «священного рассказа» — через использование «святого»: высокими смыслами управляют в прагматических, социально ограниченных целях, в интересах и в контексте актуальной политики. Именно утилитарный, «служебный» характер политической мифологии, ее изначальный инструментализм противоречат субстанциальной природе мифов национальной культуры, «унижают» ее.

В конфликте разновеликих сущностей — принципиальная разница/расхождение политического и культурного мифов. При этом они тесно связаны, взаимозависимы — иногда настолько проникают друг в друга, что становятся почти неразличимы. «Священный» смысл подменяется политическим содержанием, политика «возвышается» и наполняется образами истории, приобретая временное измерение. Поэтому важно понимать характер связи культурного и политического мифов, возможности и пределы их совпадения/сведения друг к другу.

Главное, что объединяет (хотя и не роднит) миф культуры и политический миф, — это механизм появления. Вот как описывает его Р. Жирар: «Одна из версий происшедшего побеждает; она утрачивает политический характер и становится истиной мифа, становится самим мифом. За этой фиксацией мифа стоит феномен единодушия» [Жирар 2000: 100]. Миф можно считать состоявшимся, когда он приобретает статус коллективного верования: заражает, объединяет, даёт ориентиры мировосприятия, направляет социальную активность. М. Элиаде отмечает: «Будучи реальным и священным, миф становится типичным, а следовательно, и повторяющимся, так как является моделью и, до некоторой степени, оправданием всех человеческих поступков. Другими словами, миф является истинной историей того, что произошло у истоков времени, и представляет собой образец для поведения человека» [Элиаде 1996: 21]. Именно это качество культурного мифа особенно ценно для политики; на него она нацелена, его использует. Посредством политической мифологии традиционные модели восприятия прошлого («матрицы восприятия»), зафиксированные в культурном мифе, переносятся в настоящее. Захватывая чувства и умы, определяя собою социальные представления, они начинают приносить политическую прибыль.

Связь культурного и политического мифов проявляется и на содержательном уровне. К. Леви-Стросс писал: «Сущность мифа составляет не стиль, не форма повествования, не синтаксис, а рассказанная в нем история. Миф — это язык, но этот язык работает на самом высоком уровне, на котором смыслу удаётся отделиться (если так можно выразиться) от языковой основы» [Леви-Стросс 1985: 187]. Язык мифа не может пониматься буквально; он адресует (обращается, акцентирует внимание) к определенным символам, сюжетам, текстам, в которых зашифрован притягательный для данной культуры, данного народа смысл. Связность/сопряженность с культурным мифом через «историю» и смыслы и обеспечивает жизнь политическому мифу.

Политический миф — продукт политической мысли; последняя же ищет опору и истоки в культурной мифологии. «История» культурного мифа становится для мифа политического своего рода идеальным (архетипическим) прообразом; он ее заимствует, чтобы состояться. Политический миф нужен «элитам» для управления обществом; он, повторю, по преимуществу искусствен, инструментален. Культурный миф даёт ему силу воздействия на коллектив-

ное сознание и бессознательное, обеспечивая за счёт этого связь/единство «элит» с массами. Политическая мифология, замешенная на культурной основе, имеет шансы войти в массовую культуру, стать элементом национального самосознания. В этом качестве она может быть как ускорителем, так и тормозом общественного развития — все зависит от того, какую ценностную систему она представляет, куда зовёт.

Политический миф, усвоенный массовым сознанием и ставший элементом массовой культуры, есть форма инобытия культурного мифа, способ его вхождения в современное общество, адаптации к нему. Содержа в себе архетипический код, политический миф постоянно достраивается; он изменчив, так как подчиняется меняющимся политическим задачам. Политические мифы могут поэтому «снашиваться», устаревать, теряя свою заражающую силу и растрчивая идентификационный, легитимационный потенциал. Но чем сильнее их связь с культурной традицией, тем больше у них шансов на возрождение. При политической необходимости, в определённых исторических условиях, провоцирующих массовый спрос на самоутверждающую национальную мифологию, «старый» политический миф может быть вновь использован для нужд социального управления. Но в новых условиях он способен повести себя иначе, чем прежде, стать идеологической базой для других политических сил и легитимационных проектов.

### *О культурных склонностях, социальных потребностях и утешающе-возвышающих мифах*

Обеспеченность национальных культур мифами трудно как-то оценивать — это данность. Мифы встроены в механизмы коррекции культурой действительности, указывают на то, какой она (эта действительность) должна быть с точки зрения данной культуры. Историческая мифология, по существу, имеет значение временной релаксации, разрядки, подпитывающей социальную энергию образами идеализируемого («правильного») прошлого. В этом смысле она выполняет защитно-компенсаторные функции. Являясь формой выражения национальной (или групповой) культуры и основой самоидентификации ее представителей, мифология активизируется в те моменты, когда ставится под сомнение сложившийся образ «нации» (или группы), что создаёт угрозу национальной (групповой) сплочённости.

В эпохи политических конфликтов, культурных разломов, социальных потрясений, когда нарушаются налаженные механизмы взаимодействия и преемственности, расшатываются ценностно-нормативные основы, общества становятся особенно восприимчивы к мифологии, попыткам политического манипулирования на этой почве. Мифологические истории, конечно, снимают стресс, снижают уровень социальной тревожности, а потому способствуют социальному умиротворению<sup>4</sup>. Однако чем более влиятельной становится мифология, чем глубже она проникает в общество, тем больше оно склонно рассматривать и настоящее, и прошлое в мифологической (т. е. в искажающей, неадекватной им) логике и, исходя из нее, принимать решения. Появляется опасность, что миф подчинит себе реальность, превратится из социальной психотерапии в своего рода яд — дополнительный источник деструкции.

Ещё опаснее, когда мифологическая истерия возникает в культурах, традиционно склонных к подмене реального «воображаемым» — в том числе мифологическим. Активно выраженное в таких культурах иллюзорно-фантазийное начало есть ответ (защитно-компен-

<sup>4</sup> Известно, что «функции компенсации стрессовых факторов, разрушительных и в плане психологического дискомфорта индивидов, и в плане психологической сплочённости социального коллектива... призваны выполнять многие сопутствующие жизнеобеспечивающей практике человека символические акции... Чем выше уровень тревожности людей в связи с теми или иными угрожающими их жизни и благополучию факторами и чем в меньшей степени или с меньшей надёжностью они могли противодействовать этой угрозе, тем большее место в общем поведенческом массиве жизнеобеспечения занимают символические акции, создающие иллюзию такого противодействия» [Культура жизнеобеспечения и этнос... 1983: 70–71]. К символическому компенсаторному «комплексу», созданному культурой, относятся и мифы.

саторная реакция) на сложности существования. Чем агрессивнее «среда обитания» социума, тем выше в нем потребность в символической компенсации стрессогенных природных, социальных, геополитических факторов. Именно такова традиционная русская культура: в ней всегда были чрезвычайно сильны утопическое и мифологическое начала. Более того, они сливались: утопические царства правды/справедливости локализовались в идиллическом прошлом; по аналогии с ним мыслилось («воображалось») будущее. Поэтому образы будущего связаны у нас традиционными идеалами, а не идеями прогресса.

В рамках такой логики невозможно объяснить зависимость вещей, установить пределы допустимых и опасных социальных действий. Здесь другая цель — «отменить» действительность в воображении (средствами культуры) и тем самым приспособиться («притерпеться») к ней. «Воображаемые миры» русской культуры позволяли снизить до приемлемого уровня катастрофизм действительности, принять ее; компенсируя ощущение внутренней слабости, давали своего рода алиби успешности. Об этом много написано и сказано; здесь я сошлюсь лишь на два суждения.

Первое принадлежит философу и общественному деятелю, одному из авторов «Вех» М.О. Гершензону: «Народ наш — не только ребёнок, но и старик, ребёнок по знаниям, но старик по жизненному опыту и основанному на нем мировоззрению, что у него есть и, по существу вещей, не может не быть известная совокупность незабываемых идей, верований, симпатий, и это в первой линии — идеи и верования религиозно-метафизические, т. е. те, которые, раз сложившись, определяют все мышление и всю деятельность человека... Народ ищет знания исключительно практического, и именно двух родов: низшего, технического, включая грамоту, и высшего, метафизического, уясняющего смысл жизни и дающего силу жить» [Гершензон 1991: 98–99]. Эту мысль по существу продолжает И.А. Бродский: «Основная тенденция русской культуры — это тенденция утешения, тенденция обоснования существующего миропорядка на каком-либо наиболее подходящем трансцендентальном уровне. Это не тенденция отрицания — это тенденция оправдания и утешения. И можно на пальцах пересчитать тех, кто из этой тенденции выпадает» [Бродский 2011: 334].

Мифология «оправдания и утешения», конечно, позволяет обществу выживать, приспособившись к действительности, какой бы она ни была, но препятствует накоплению потенциала развития. Там, где защита и безопасность становятся основным (и даже единственным) ориентиром деятельности социальных субъектов и институтов, не остаётся места и сил для развития (или, выражаясь языком нашего времени, для модернизации). Из потребности в защите и безопасности формируется спрос на оправдывающие и утешающие «символические акции». Нарастание же в культурном поле в ответ на трудности и кризисы иллюзорно-фантазийного начала, увеличение его влияния на социальную практику означают, что реальные проблемы и противоречия не устраняются, а вытесняются, «снимаются» в воображении. При этом у общества создаётся иллюзия их решения, что не только не способствует безопасности, но ещё больше увеличивает социальные риски. Следствием «больших» проблем становятся большие революции. Россия дважды в XX в. срывалась в такой сценарий; их опыт, однако, так никого ничему и не научил.

Особый тип «коммуникации» с действительностью, с прошлым и настоящим, характерный для традиционной русской культуры, не был преодолен (или хотя бы подправлен, отчасти рационализирован) в советское время. Традиционные ценности, мировоззрение, «модальные личности» не ушли, уступив место современным, — они были советизированы. Уничтожив социальную основу, связи, практики традиционного (крестьянского) мира, советская власть активно эксплуатировала его мифологические и утопические начала. Поэтому традиционный алгоритм существования — «оптимизировать» действительность в воображении, оставив в жизни все, как есть, — лишь закрепился в советское время.

Средствами советской масскультуры был сформирован определённый тип личности: конформно-инертный, готовый притерпеться ко всему, вечно недовольный, ищущий успокоения и оправдания (жизни и себя) в словах и образах. Личность этого типа приучена жить как бы в двух измерениях — в повседневной обыденности, ставившей перед человеком одну задачу: выжить, и в мире масскультовых грёз, где сказка о справедливой, устроенной, сытой и красивой жизни становилась былью. Чем страшнее и «невозможнее» была для советского человека действительность (Гражданская, голод, эпидемии, разруха, коллективизация, террор, Отечественная, послевоенное восстановление — всего этого слишком для любого народа), чем меньше было у него шансов изменить ее в свою пользу, тем больше его снедала тоска по «правильному» миропорядку. Советский масскульт (кино, литература, массистория, идеология и проч.) убеждал людей, что такой порядок возможен. Тем самым давал им веру, вносил смысл в их повседневное существование. Не случайно масскультура была монополией советской власти; она служила столь же эффективным инструментом социального управления, как и насилие<sup>5</sup>.

По мере того как советское общество становилось более образованным и свободным, осваивало стандарты современного потребления, в нем падал спрос на мифологическое и утопическое. Взамен усилилось стремление рационализировать отношение к действительности, изменить ее — «под» человека, для общего блага. Этим стремлением оказалась захвачена и позднесоветская власть — потому и пошла на перестройку. Но привычка жить, выкручиваясь и приспособливаясь, по возможности избегая ответственности (не за личное — здесь действовал принцип «помоги себе сам», а за общее), надеждами на мгновенное «превращение» «плохого» в «хорошее» (как в сказке — «по щучьему велению, по моему хотению», т. е. магическим образом), не меняясь по существу (переодевшись, заговорив другими словами), осталась — и у «низов», и у «верхов». Слишком невелик был опыт ее преодоления, сильна инерция существования, «рецепт» которого у нас всем известен: «будь как все», «перетерпим», «не высывайся», «моя хата с краю», «кто виноват?», «бей врагов» и т. п. Этот «рецепт» — о том, как быть за всё со всеми и со всеми же против всего, но всегда оставаться в одиночестве: за себя — против всех. Это сложный замес первобытного индивидуализма с первобытным же коллективизмом, эффективный там, где есть одна задача: выжить вопреки всему.

Склонность русско-советской культуры к оправдывающей мифологии, разрешению реальных проблем в «воображении» реализовалась во всей полноте в современную кризисную эпоху. Ответом на распад привычных условий и правил социального существования, на кри-

---

<sup>5</sup> Здесь опять требуется методологическое отступление. Индивидуальные опыт и воспоминания могут не соответствовать (и часто не соответствуют) официальной памяти, которая даётся «элитами» и становится основой коллективных идентичностей. Чем меньше прав имеют в обществе человек, личная память и памяти «меньшинств», тем больше оно подвержено тирании официальной памяти, нейтрализующей (репрессирующей) все иные воспоминания. В случае установления монополии власти на «управление прошлым» официоз становится единственным источником и смыслом национальной идентичности, по существу, одним из способов социальной эксплуатации. Принося очевидные выгоды/прибыли «верхам», эксплуатирующим массовое воображение и саму историю, этот алгоритм воспоминаний чрезвычайно ограничивает память нации, обедняя ее «культурный запас» и тем самым препятствуя развитию. Но такого рода общества привыкают жить в режиме диктата (а временами и диктатуры) официальной памяти, перестают его ощущать, воспринимают «историю от власти» как свою. При этом теряют интерес и способность к участию в «мемориальной» работе. Историк в этом случае оказывается не свободным профессионалом, общественным деятелем, а «уполномоченным» («службой») государства/власти, производящим нужные им воспоминания. История СССР — классический пример отстранения общества от «работы памяти», «управления прошлым» исключительно в интересах господствующих групп. Сложившийся в советское время алгоритм воспоминаний, поддерживающий вертикальную социальную интеграцию (когда все — и реальное, и воображаемое — спускается «сверху» и замыкается «наверху»), работает и сейчас. Российское общество безразлично попустительствует «верхам», отказываясь от автономии, самостоятельности, своих прав на воспоминания/историю. Власти же этим пользуются, «присваивая» национальное пространство памяти.



зис «старых» ценностей, катастрофические изменения географии и демографии, утрату позитивного ощущения общности стало (помимо прочего) торжество мифологии. Оправдывающие и утешающие мифы о самих себе, которыми мы, как ватой, обкладываем свою жизнь, — это, по существу, каталог нынешних социальных дефицитов. Так массовый постсоветский человек защищается от действительности, заставляющей его постоянно балансировать между крайностями: «так жить нельзя» и «жить сложно, но можно терпеть».

Чтобы «жить-терпеть», необходима уже не утопия светлого завтра (ее попросту нет — и социализм, и капитализм потерпели на русской почве поражение), но легенда счастливого и героического, трудного и жизнеутверждающего, а потому великого прошлого. И понятно, почему объектом идеализации стала именно советская история: в культурно-ментальном отношении она ещё не закончилась (мы во многом остались советскими людьми), но социально и геополитически мгновенно оборвалась, оставив по себе главный вопрос: почему? Здесь большой простор для фантазии — причём по традиционному для нас алгоритму: чем страшнее реальность, тем лучше и возвышеннее воспоминания.

Память об общем советском прошлом снимает стресс одиночества, вызванного атомизацией социальной материи. Чем больше постсоветский человек уходит в частное пространство (мир личной жизни, карьеры, индивидуальных интересов), тем больше он нуждается в идеальных историях о себе как о члене большого, сильного, сплочённого, успешного сообщества. И здесь решение приходит само собой: да здравствует миф! И прочь наука с ее критической — не в смысле «критикуем», а в значении рационализуем, познаем — функцией. Спасительная мифология выше критики, она противится ограничению историей, т. е. знаниям о случившемся (действительно бывшем), его адекватному пониманию, его моральной оценке.

Такая специфическая «работа памяти» приводит к тому, что от нашего общества все больше ускользает реальность — сходит на нет потребность ее осмыслить, понять и перестроить. Мир вокруг не меняется, но превращается в место, где жить нельзя. Недалеко то время, когда неудовлетворённость настоящим не смогут скрасить и «воображаемые миры» постсоветского масскульта. Скорее, станут раздражать разительным несоответствием действительности. Так уже было — совсем недавно, и закончилось крахом.

### *Об актуальных задачах текущего момента: миф или реальность*

Конечно, от мифологии культуры никуда не уйти, да и уходить не надо. Она все равно останется в фундаменте общества. Вопрос в другом. Современный социум не может жить (исключительно или по преимуществу) мифами, не должен управляться, исходя из мифологической логики. Мифология не способна и не должна подменять собою сложность современного мира<sup>6</sup>. Если рациональное социальное сознание пытаются редуцировать к мифу, то идущее на это общество обречено. Оно лишится и прошлого, и настоящего, и будущего, окажется вне времени — миф ведь вневременной феномен.

Особенно опасным это внеисторическое явление становится, когда его начинают использовать специалисты по «информационно-политическим технологиям», социальные

<sup>6</sup> В. Живов, умерший в 2013 г., писал о роли и месте мифологии: «Мифы — это часть истории. И, если мы не хотим стоять с вывернутой шеей, в историю их и надо интегрировать. Интегрировать миф в историю означает узнать, частью какого дискурса он первоначально был, как сложился этот дискурс и какие социальные или асоциальные нужды он удовлетворял» [Живов 1999: 51]. Следует подчеркнуть: только общество может дать санкцию на «интегрирование мифа в историю», признав возможной и социально полезной работу специалистов — историков, политологов, культурологов и проч. — по деконструкции национальной мифологии. Без этой санкции такая работа затруждена, да и бессмысленна в социальном отношении.

«конструктивисты»-конструкторы. Известно, что «арийский» миф (идеалистическая, романтическая история о превосходстве и об ущемлённости немецкой расы), как важная составляющая немецкой культуры, существовал и до национал-социалистов. Конечно, он всегда был потенциально опасен, что понимали соседи Германии. Но разрушительным и для самих немцев, и для всей Европы стал лишь тогда, когда его принялись осуществлять нацисты. «Арийский» миф заменил собой право, политику, культуру во всем ее многообразии, науку. В конечном счёте попытка реализовать «арийский» миф привела к суициду немецкого народа. И это вечное предупреждение тем, кто хочет поиграть в мифы.

Говоря привычным для советских людей языком, миф может и должен оставаться в «базисе» общества, но его ни в коем случае нельзя пускать в «надстройку». Более того, миф относится к социальному, а не к государственному. Государственные институты, должностные лица обязаны оставаться вне сферы мифологического. Обществу же, которое использует миф в качестве консервативной опоры, требуются и другие основания — прежде всего в виде науки, научного знания. Для него это, если угодно, не менее важная страховка от самоубийственных срывов, чем для политики система сдержек и противовесов.

Особенно осторожным должно быть отношение к мифам, связанным с относительно недавними историческими событиями. Действующими лицами этих мифов являются отцы и деды, а не легендарные Зигфриды и Брунгильды. Сила этих мифов всепобеждающа, поскольку они питаются энергией ещё ощущаемого страдания, ещё переживаемой боли, ещё возвышающей гордости. Такие мифы действительно способны и повести за собой, и сформировать определённый тип человеческой личности. Иными словами, они обладают повышенной мобилизационной силой.

Все это в полной мере относится к тому, что происходит в нашем обществе в связи с темой Отечественной войны. Сложнейшее, трагическое событие свелось в нашей памяти к военно-победной, парадно-маршевой истории, прославляющей военную мощь государства и героизм народа. Она вся укладывается в формулу: большая война — Победа — великая страна. Эта история вселяет оптимизм, будит даже не национальное чувство, а националистическое тщеславие и великодержавную агрессию. Ее назначение — продемонстрировать силу и большие амбиции; в ней нет места для вопроса о цене, потому что ответ известен: «И все-таки мы победили». А за победу можно отдать все. Речь идёт о создании из войны («изобретении» на этой фактической основе) той «истории», которая «полезна» современному обществу и власти. Но эта «польза» краткосрочна. Парадно-героический, мобилизационный миф, «утешая» и гоня сомнения в себе, позволил выжить на тяжелейшем переломе, но не даёт развиваться.

Существует громадная, острейшая опасность закрыться этой большой «историей» не только от нашего прошлого, но и от нашего настоящего и будущего. Невероятно измученный в последнее столетие русский народ может «утонуть» в ней примерно так же, как он тонет в водке. И те современные идеологи и политики, которые нагнетают мифологическую обстановку в стране и военной мифологией пытаются подменить абсолютно необходимое для общества самопознание, вне всякого сомнения, ведут Россию в тупик. Именно эти люди превращают миф из созидательного начала, работающего на жизнеустройство, в жизнеразрушающую силу.

---

Бродский И. 2011. *Книга интервью*. — 5-е изд. — М.: «Захаров».

Быков Д. 2014. Школа неверия. — *Новая газета*. — 10 февр.

Гершензон М.О. 1991. Творческое самосознание. — *Вехи: Интеллигенция в России: Сборник статей, 1909–1910*. — М.: Молодая гвардия.

Живов В. 1999. Об оглядывании назад и частично по поводу сборника «Семидесятые как предмет истории русской культуры». — *Неприкосновенный запас*. — № 2 (4).

Жируп Р. 2000. *Насилие и священное*. — М.: НЛЮ.

- Культура жизнеобеспечения и этнос... 1983. *Культура жизнеобеспечения и этнос: Опыт этнокультурного исследования*. — Ереван: Изд-во АН Арм. ССР.
- Леви-Стросс К. 1985. *Структурная антропология*. — М.: Наука.
- Хальбвакс М. 2007. *Социальные рамки памяти*. — М.: Новое издательство.
- Хюбнер К. 1996. *Истина мифа*. — М.: Республика.
- Элиаде М. 1995. *Аспекты мифа*. — М.: Инвест-ППП.
- Элиаде М. 1996. *Мифы, сновидения, мистерии*. — М.: REFL-Book: «Ваклер».
- Юнг К. 1994. О психологии бессознательного. — Психология бессознательного: Собр. соч. — М.: Канон.